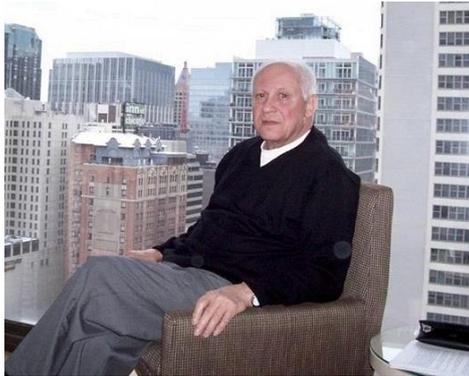


«В ПУТЬ, СКВОЗЬ БЫЛОЕ, ЗА БУДУЩИМ – ВСПЯТЬ!»

На вопросы Александра Радашкевича<sup>1</sup> отвечает Дмитрий Бобышев

**Дмитрий Васильевич БОБЫШЕВ**, поэт, переводчик, эссеист, профессор Иллинойского университета в Шампейн-Урбана, США. Родился в Мариуполе в 1936 г., вырос и жил в Ленинграде, участвовал в самиздате. В 1963 г. Анна Ахматова посвятила ему стихотворение «Пятая роза». На Западе с 1979 г. Книги стихов: «Зияния» (Париж, 1979), «Звери св. Антония» (Нью-Йорк, 1985, совместно с Михаилом Шемякиным), «Полнота всего» (Санкт-Петербург, 1992), «Русские терцины и другие стихотворения» (Санкт-Петербург, 1992), «Ангелы и Силы» (Нью-Йорк, 1997), «Жар-Куст» (Париж, 2003), «Знакомства слов» (Москва, 2003), «Ода воздухоплаванию» (Москва, 2007), «Чувство огромности» (Франкфурт-на-Майне, 2017). Автор-составитель раздела «Третья волна» в «Словаре поэтов русского зарубежья» (Санкт-Петербург, 1999). Трилогия литературных воспоминаний «Человекотекст» выпущена издателем Чарльзом Шлаксом (Idyllwild, CA 2014). Состоит в редколлегии журналов «Слово/Word» (Нью-Йорк, США) и «Эмигрантская лира» (Льеж, Бельгия). Печатается во многих эмигрантских и российских журналах. Живёт в г. Шампейн, шт. Иллинойс, США.



Дмитрий Бобышев в Чикаго на конференции. 2017 год.

**Александр Радашкевич:** Дорогой Дмитрий, это было очень давно, во второй половине 80-х годов, в Париже. Я был на вашем вечере в какой-то частной квартире, недалеко от Бастилии. Там был и мой друг Бахыт Кенжеев, оказавшийся тогда здесь, и знаменитый Александр Гинзбург (Алик, как мы его звали) с женой Ариной, с которыми я работал в «Русской мысли». Они и пригласили меня туда. По-моему, Юра Кублановский, тоже мой коллега. Других я не помню. Вечер был

<sup>1</sup> Информация об авторе опубликована в разделе «Редакционная коллегия» (стр. 5).

замечательный. Но мне показалось тогда, что вы были мрачноваты и не совсем в форме, и даже что-то сказали об этом. Я был тронут вашей откровенностью. Мне особенно врезался в память известный триптих «Ксения Петербургская», внутренне мне очень близкий по многим причинам:

И – даты стёртые. «Споспешествуй в пути...»

И – «Отведи навет...» И – «Виноват, прости!»

И – «Благодарствую.» И – «Слава в вышних Богу.»

Христоблаженную, хлопочущу о многу,

о тёплой мелочи и о слезе людской,  
её бы помянуть саму за упокой,

горяще-таящую истово и яро...

Я помолился лишь «о нелишеньи дара».

Гости дружно аплодировали. Помните ли вы тот вечер?

**Дмитрий Бобышев:** Некоторые детали я очень хорошо помню. Не знаю почему, но в тот день что-то не заладилось. Например то, что встретившись с Ариной, мы долго ждали вас у станции метро, чтобы вместе отправиться на этот вечер. Я был в нетерпении, нервничал, даже злился, и этим, возможно, объясняется ваше первое и такое неоднозначное впечатление обо мне. Но «Ксенюшка», к счастью, исправила положение... Люблю эти стихи.

А Гинзбургов, Алика и Арину, я всегда очень ценил, хотя видеться с ними приходилось не часто: я – в Ленинграде, они – то в Москве, то в Гулаге, то в эмиграции... Но оба в каком-то смысле помогли определиться мне в жизни. Сначала – он. Где-то в 1959-м я передал Алику стихи для его ставшего потом знаменитым альманаха «Синтаксис». Из подборки он выбрал наиболее острые стихотворения, видимо, у других авторов тоже, и это вскоре возымело результат. В начале следующего года вышел в «Известиях» фельетон «Бездельники карабкаются на Парнас», Гинзбурга арестовали, у меня на рабочем месте («бездельник» работал тогда инженером) был сделан обыск. А чуть позднее стихи из самиздатского «Синтаксиса» перепечатал западногерманский журнал «Грани», что сразу отбросило меня в разряд нежелательных, «чуждых социалистическому строю» авторов. Это был шаг на пути всё большего разрыва с официозом, к ещё большему раскрепощению, и в конце концов я распрощался с Советским Союзом.

Но в эмиграции я оказался не на чужбине, там уже были друзья и хорошие знакомые, среди них – Арина, которая предоставила мне

страницы парижской «Русской Мысли» (она замещала главного редактора). В этом еженедельнике я в основном и печатал свои стихи и статьи, да ещё в журнале «Континент» у Натальи Горбаневской.

Помню неожиданную встречу. В первые месяцы пребывания в Нью-Йорке я пошёл на спектакль в один из театриков «оф-оф-Бродвея». Давали пьесу на документальном материале, по книге Гинзбурга «Голодовка» о том, как они с Ариной добились у лагерного начальства права сочетаться браком за колочей проволокой. Актёры (все, конечно, американцы) убедительно играли советских эзков, а я в зале, который тоже, как и сцена, изображал внутреннюю зону, сидел вместе с живыми прототипами – Аликом и Ариной! Вся эта невероятность описана у меня в третьей книге «Человекотекста».

**А. Р.:** Не помню, что опоздал. Мне это крайне не свойственно. Прошу извинить меня задним числом... В вашей всем известной мемуарной прозе вы рассказывали о своём жизненном пути, событиях, встречах, разумеется, об Ахматовой, о Бродском, о многих других... Это маяки вашей жизни. Но мне хотелось бы уйти от этой «оси», увидеть вас в немного непривычном ракурсе и поговорить просто «за жисть», если позволите. Кстати, в конце 60-х и вплоть до моей эмиграции в 1978-м (на год раньше вас, как я понял) я очень дружил с известной ленинградской переводчицей и литературоведом Надеждой Януарьевной Рыковой, которая, без малейшего нажима, очень много дала мне в творческом плане. Ей посвящена моя первая книга стихов. Помню, меня потрясло, что она, рассказывая по моей просьбе об Ахматовой (к которой я отношусь с величайшим почтением и пиететом), говорила «Аня». Возможно, вы даже слышали что-то о ней...

Итак, откуда берутся ваша воля и устремлённость к жизни, всегда так ярко звучащие в ваших стихах и во всём, что вы пишете, – в любви к ней, вере, отчаянье или это природный дар?

**Д. Б.:** Ну что ж, действительно, давайте поговорим просто «по душам», ведь это лучший способ общения и одно из тех удовольствий, которые не часто получаешь в эмигрантском рассеянии.

Нет, я не был знаком с Надеждой Януарьевной Рыковой, знаю только, что она упоминается среди доверительных собеседниц Ахматовой. Вам повезло, что эта достойная женщина стала наставницей в начале вашего поприща.

Но вы спрашиваете о самом процессе стихосложения – откуда, мол, всё это берётся? Не знаю. Бывает и от отчаяния, когда жизнь в разладе, вот и хватаешься за последнюю соломинку – за перо. И оно выводит тебя из внутренних теснин, как ариаднина нить... Глядишь – и улыбнётся удачно найденное слово, обрадует красивый троп и

неожиданно приоткроются новые смыслы в существовании, о которых прежде не догадывался. Так, в тяжёлую минуту я начал писать поэму «Небесное в земном», а закончил её в просветлении и душевном спокойствии. Это же относится к циклу «Из глубины».

А бывает и наоборот – от переполненности мыслями и переживаниями, как это случилось во время моего бурного увлечения религиозно-философской литературой. Я испытал необыкновенное состояние – можно назвать это откровением или внезапным озарением, или попросту информационным взрывом, когда вдруг, по выражению Гоголя, «стало видно далеко во все стороны света», и я ощутил необоримые силы, буквально бросившие меня к письменному столу. Так пошли «Медитации», начало поэмы «Вещественная комедия», а затем и «Стигматы», которыми я закончил первую книгу стихов «Зияния», вышедшую в 1979-м году в Париже.



Первая книга стихов с портретом работы Игоря Тюльпанова.

Эмигрантские впечатления тоже захватывают новизной, и, пока длится эйфория, хочется их выразить прямо как есть, в их невиданности и небывалости. Со временем глаз привыкает, тон трезвеет, но краски уже сделались иными, чем прежде. Именно так, в согласии с накапливаемым опытом, написана книга стихов об Америке «Чувство огромности». Однажды меня спросили, откуда я беру образы для стихов, и с полным убеждением я ответил: прямо из жизни. И привёл в доказательство свою оду «Жизнь Урбанская», где в деталях описан университетский кампус. Но тут же опомнился: нет, вру! Всё беру из головы, и книга «Звери св. Антония», полная фантастических образов, лучшее тому подтверждение.

**А. Р.:** Принимаете ли вы внутренне сегодняшний мир, его духовную атмосферу, образ и надежды, или же он вам достаточно чужд, как мне, например? И не приближается ли логически эта цивилизация к своему вырождению и концу, по вашему ощущению?

**Д. Б.:** Если предположить, что цивилизация завтра погибнет, это бы меня даже как-то эгоистически утешило. Возможно, я бы подумал: помирать, так с музыкой! Дескать, будет легче заканчивать свои дни за компанию со всей невероятной сокровищницей архитектуры, искусств и технологий, когда мнишь себя её частью. Но, с другой стороны, станет досадно за свой личный вклад, сколь он ни ничтожен, который наверняка пропадёт с ней заодно. А если цивилизация сохранится, то есть шанс, что она сохранит и мою долю в ней. Возьмём примеры великих: их грела мечта продлиться словом за пределы жизни. Одного – пока приносятся жертвы римским богам, то есть вечно, другого – пока слышна русская (славянская) речь, третьего – пока живёт поэзия, хотя бы в лице единственного пиита.

Но я не верю в скорую гибель цивилизации. Наоборот, как мне кажется, она сейчас бурно развивается, и духовная сердцевина её не пропала. В те высокие моменты сознания, о которых я только что упомянул (подробнее – во второй книге «Человекотекста») мне представился головокружительный вид всего человечества и всей вселенной, взаимно обновляющихся в совместном теургическом действе, уходящем за пределы истории...

А эпохи, конечно, сменяются, – нам повезло быть свидетелями такой кардинальной смены: рухнула коммунистическая империя и настало новое тысячелетие. На пересечении этого рубежа я написал стихотворение «Прощай и здравствуй», где подвожу итоги уходящему веку, в котором прожил большую часть жизни, да и вся она могла бы закончиться там... Но – продолжается, и потому я с любопытством и благодарностью, как награду за неведомые заслуги, принимаю новые времена.

**А. Р.:** Не кажется ли вам, что усердно создаваемый ныне тип человека, безродного, бесполого, безбожного, полностью предсказуемого и управляемого, зашоренного мобильниками-дебильниками и оглушённого наушниками, является неким подобием робота, для которого поэзия, как для нас с вами футбольные страсти или телесериалы?

**Д. Б.:** «Создаваемый» – кем? Я не вижу того демиурга, который был бы способен это делать в мировом масштабе. И – с какой целью?

Таких сил, по-моему, просто не существует, разве что по ту сторону реальности.

Поскольку моя жизнь в Америке оказалась на десятилетия связана с академическим миром, я сужу о молодёжи по моим студентам, и, вы знаете, вблизи они не похожи на роботов. Прежде всего, они разумны. Они вкладывают значительные средства (родительские и частично свои) в образование и сознательно строят себе будущее. И это не только прагматизм. То ли для расширения кругозора, то ли просто для души они «берут» самые экзотические курсы, в том числе и мои. Например, они охотно и с интересом ходили на лекции об Ахматовой, а их письменные работы принял в качестве экспонатов Ахматовский музей в Фонтанном доме.

Обобщённый тип, конечно, можно увидеть в людской массе, если глядеть с высоты или издалека, но если рассматривать каждого индивидуума, его портрет будет значительно отличаться от шаблона.

**А. Р.:** Мне кажется, что при наличии интернета, телевидения и кино никакой демиург не нужен, а стандартизация и нивелировка явно прослеживаются. Но не могу не согласиться: есть люди, а есть Человек...

«И мы сохраним тебя, русская речь, Великое русское слово». Ахматова, классика. А ведь продали и предали. Что происходит с русским языком? Он полностью засорён американизмами, и этот процесс всё ускоряется. «Шансы», «проблемы», «риски», «шок» выхолостили живую речь. И ещё меня бесит, конечно, «успешный человек». Бывая дома, я ошарашен, что люди как бы стесняются родного языка, и самые простые вещи выражают какими-то немислимыми кальками с обычно не знакомого ими языка. Вы не могли этого не заметить...

**Д. Б.:** Ещё бы не заметить! Я об этом говорил на одном из «Московских биеннале поэтов», потом текст напечатали в «Вопросах литературы». Меня поражает эта добровольная сдача русского языка американскому нашествию. Особенно удивляет, как это может сочетаться с враждебным отношением к Америке в политике, пропаганде и даже в быту у большей части населения. Как это уживается в головах литераторов, журналистов, эстрадных патриотов и либералов? При этом все они с упоением пользуются американскими технологическими новинками, а сами клянут Америку и следуют западной моде.

Что с этим делать? Можно довериться животворной силе самого языка. Он примет то, что ему подойдёт, а остальное просто выплюнет. Также можно и нужно высмеивать языковые уродства новых

*медам де-Курдюкофф*, как это делали 200 лет назад наши предтечи Грибоедов и Мятлев в противостоянии французскому нашествию.

**А. Р.:** Существует ли, по-вашему, сегодня понятие «эмигрантская литература» или оно уже потеряло всякий смысл?

**Д. Б.:** Если говорить только о русской эмиграции, то сама она отходит в историю, пусть бы так. Массового исхода пока не предвидится, люди могут уезжать и возвращаться по своей воле, за ними остаются гражданство и собственность. И главное, они уже не произносят рокового слова «никогда». Этого шемяще-бемольного звука нет у теперешних литераторов, выехавших за границу, они не эмигранты. А вот прежняя эмигрантская литература трёх волн остаётся, поскольку она осуществилась во множестве шедевров.

**А. Р.:** Могли бы назвать несколько самых близких вам поэтов из ныне пишущих?

**Д. Б.:** Зачем я буду называть кого-то, если не знаю, близок ли им я сам? Один критик обронил фразу, а другие стали её повторять, что в поэтическом сообществе я всегда стоял особняком. На самом деле не всегда, конечно, но с той поры, как наш «ахматовский квартет» распался, я и впрямь сторонился литературных толкучек и совместных начинаний, – они и кончались обычно ничем. Зато я решил печататься за границей, что меня логически туда и привело. Из своего «прекрасного далёка» в Шампейн-Урбане я, конечно, слежу за тем, что происходит в родной литературе. Сначала мне в этом помогала наша прекрасная научная библиотека, которая, помимо книг, выписывала все русские журналы и газеты, а теперь – интернет с его поисковиками и сетями. Среди океана стихов всё меньше замечашь знакомых поэтов, которые уже отблестили (Найман, Рейн, Кушнер, Кублановский, Кенжеев, Цветков, Гандельман), но иногда вылавливаются отличные, классные тексты, запоминаются новые имена. Вот, если хотите, некоторые из них: Александр Кабанов (Киев), Ирина Евса (Харьков), Марина Гарбер (Лас-Вегас), Евгений Терновский (Париж), Геннадий Кацов (Нью-Йорк), Лилия Газизова (Казань), Андрей Грицман (Нью-Йорк)... Лилия Скляр (Торонто), Сусанна Черноброва (Иерусалим), Вера Зубарева (Филадельфия), Андрей Бронников (Амстердам)... Виктор Широков (Москва), Алекс Габриэль (Бостон), Борис Лихтенфельд (Санкт-Петербург)... Но я себя обрываю, чтобы не длить этот список (включаю туда и вас, мой дорогой интервьюер), я лучше сошлюсь на имена тех поэтов, которых печатают журналы «Интерпоэзия» и «Эмигрантская лира», – к ним я близок сам.

**А. Р.:** Скажите, пожалуйста, несколько слов о вашем отношении к нынешней стране проживания.

**Д. Б.:** С самого начала Леди Либерти приняла меня довольно радушно, и я через какое-то время нашёл своё место в новом окружении. Моё отношение к Америке – самое положительное, хотя ни отчизной, ни родиной я её назвать не могу. Но она и не чужбина, что-то у нас уже «срослось» за те полжизни, что я тут прожил. Я интересуюсь здешними делами, но участвую в них минимально: хожу на выборы, даже заседал однажды в судебном жюри, и мне нравится, что никто меня не докучает, кроме рекламы. Но решительно не нравится, когда эту страну ругают несведущие и предубеждённые люди. Здесь есть всё, что нужно для моего образа жизни, и все, кто мне нужен – также со мною.

**А. Р.:** Вы много и давно печтаетесь. Как вы оцениваете атмосферу нынешних известных литературных журналов, их общий уровень и отбор авторов? Трудно ли себе представить мир без них?

**Д. Б.:** Эти журналы, которых мы называем «толстяками», традиционно жалуются миру на трудности и грозят вот-вот обанкротиться. Но трудно всем, а они всё-таки выдюжили самые тяжкие времена и продолжают существовать, при этом сохранив часть былого престижа. Пусть бы так и продолжалось, я с интересом заглядываю в свежие номера, когда они появляются в сети. Но сенсаций не жду, да и самому печататься там ради тщеславия уже не обязательно, поскольку я ранее успел опубликоваться во многих из них. Я даже мог позволить себе рассориться с каким-либо из журналов. Так, я послал открытое письмо в «Звезду» с протестом, когда они напечатали анти-ахматовские материалы. Они проигнорировали, я опубликовал письмо в другом месте, и на том наши отношения кончились. Но я не особо печалюсь, если солидный журнал отвергает мои сочинения. Меня охотно печатают другие, бумажные или сетевые, издания. Все они теперь имеют выход в интернет, а это уравнивает их с «толстяками», как некогда Кольт уравнивал слабых и сильных в Америке.

**А. Р.:**

Не ведает волна своих глубин –  
её волнует то, что тонко взбито  
из полуслов, из полу-половин...  
Красот овалами, обвалами лавин  
расколебались тонны монолита;

волной к волне слагается молитва,  
где слог – божествен, смысл – неуловим.

Удивительные строки. В них великий барочный отзвук моего любимого осмнадцатого столетия... «Новизна в каноне», как-то сказал о себе Кублановский. А как бы вы определили свой поэтический стиль?

**Д. Б.:** Для его стихов это хорошее и точное определение. А я выходил за пределы канона. Жизнь задалась длинная и переменчивая, стиль менялся тоже, но развивался своими путями. Сначала стихи были мажорными, лирическими и насмешливыми, со свежими рифмами и словесной игрой. Затем задумчивыми с нотой истовой жалости, которая распространялась на скудость природы, убогость жизни в целом и вообще на несовершенства мира. Но где-то там, трансцендентно за его пределами стал проясняться смысл, забрезжила краса, заря и головокружительная, ошеломляющая идея участия в миротворении...

Семистишие, которое вы привели, относится к циклу «Волны» – как раз на эту тему. Конечно, такое содержание не вмещается в акмеистический канон, оно требует других средств. Надо не забывать подсказки великого символиста Вячеслава Иванова, память о котором оказалась затоптана конкурентными акмеистами, футуристами и советскими критиками. Ведь он оставил по себе множество художественных идей, способных, на мой взгляд, питать поэзию ещё лет двести.

«Преодолевшие акмеизм» – так я назвал статью, напечатанную в «Воплях» («Вопросы литературы», № 6, 2005) о поисках большого стиля поздней Ахматовой и нашей четвёрки. Принцип полифонии делает её «Поэму без героя» волшебной, загадочной, переливающейся, живой. То же самое – с циклом «Полуночные стихи». Поэма «Горбунов и Горчаков» Бродского тоже построена на раздвоении голосов и сдвиге смыслов, она является наиболее формально продвинутым из его сочинений. Несколько иначе, но тоже полифонически устроены мои «Новые диалоги доктора Фауста» и поэма «Небесное в земном».

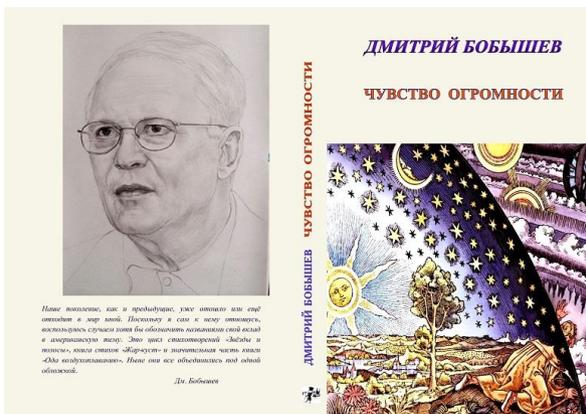
Всё это происходило в ранние 60-е, на фоне обнародованной работы Михаила Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского». Его идеи и открытия, более широкие, чем просто литературоведческие, вскоре завоюют весь гуманитарный мир. Но мне казалось, что поэзия гораздо более, чем проза (пусть даже самого Достоевского) являет примеры полифонии: например, «Два голоса» Тютчева, «Двенадцать» Блока...

Тот же принцип многоголосия, но в ином виде я применил в книге «Русские терцины», для которой выдумал собственную строфу – терцинное десятистрочие. Получилась очень красивая ёмкая форма, более краткая, чем сонет. Увы, позднее, когда были опубликованы архивы Михаила Кузмина, я обнаружил у него два-три подобных

образца. Великий мастер изобрёл эту строфу раньше, немного с ней побаловался, да и забыл золотую находку.

В Америке мне пришлось пользоваться несколько иными словесными красками, более яркими и густыми, – я словно бы перешёл с масла на акрилик (художники это поймут). Это оказалось созвучным тому, что делал Юрий Иваск, замечательный поэт, староэмигрант и профессор Массачузетского университета. Он причислил меня к новым архаистам, объединил с Бродским, Кривулиным и самим собой, и назвал этот стиль «нео-барокко».

Но я считаю себя трансценденталистом.



Новая книга стихов (Франкфурт-на-Майне, 2017 г.).

**А. Р.:** Какое из своих стихотворений вам хотелось бы показать сегодня нашим читателям?

**Д. Б.:** Лучше я дам адрес моего сайта, где можно найти не только стихотворения и поэмы, но целые сборники моих стихов, а также статьи о литературе, отзывы критиков, воспоминания, интервью, альбом фотографий и даже рисунки: <https://dbobyshev.wordpress.com>. А в качестве приглашения на сайт я помещаю здесь стихотворение о Велимире Хлебникове, нашем великом, сумасшедшем и гениальном Председателе Земного Шара.

БУДЕТЛЯНИН

Что-то лепечет листва верховая –  
это ночной Велимир, колоброд,  
так выдыхает свои волхвованья...  
Так, что изнанкой навыворот – рот!

Чуешь, и чувству такому не веришь,  
но по вершинам идёт налегке  
наш коренной председатель и дервиш.  
Только стихи шевелятся в мешке.

В них разливаются чудью озёрной  
меря да кривичи с весью лесной.  
То неразвернут язык, то разорван –  
странно опасный, чудной, озорной.

Вместе – не каждым листком или словом –  
общей листвою древлян и древес,  
ясенной мазью и маслом словым  
скулы черёмит, шалит, куролес.

Как из ручейного бучила – вычур,  
свирь саранчёвую, птицын чирик –  
прямо живьём, целиком закавычил  
прашура – в своей белой черновик.

Но не дремуч – лишь юродив и странен;  
так и велит повернуть и не ждать  
бывший на нашей земле будетлянин:  
В путь, сквозь былое, за будущим – вспять!

Общее дело листвы – облетанье...  
Страшно сказать, но земля всё родней;  
всё обитаемей в ней стала тайна:  
труд сокровенных и сладких корней.

**А. Р.:** Я уже много раз писал, что, на мой взгляд, интернет изживает саму сущность поэзии, с её избранничеством, служением и даже жертвенностью, с её тайной и даром, растворяя всё это в громогласных и безвылазных потоках графомании, от которых разит самовлюблённостью и невежеством. В поэзии ведь никогда не было «демократии». Это почти абсолютная монархия. Может ли она выжить без всякого представления об иерархии?

**Д. Б.:** В идеале могла бы, если следовать завету формалистов о том, что существует только текст, а биография автора несущественна. Но такой идеал не находит приверженцев даже среди исследователей, что же касается читающей публики, то она без предварительных мифологических заманок книгу не купит и не откроет. Лишь немного утрируя, можно сказать, что Пушкин непредставим без дуэльного пистолета, так же как Ахматова без ждановского постановления, а Бродский без архангельской ссылки и нобелевской премии. Что же

делать начинающему или безвестному автору? Если нет рекламной поддержки, нет «раскрутки», остаётся «творить» себе биографию скандалами, броским обликом и дерзкими манерами, либо смиренно отправиться в демократический интернет.

**А. Р.:** Что бы вы пожелали пробующим сегодня своё, скорее всего электронное, «перо» и записывающим свои первые околупоэтические строчки?

**Д. Б.:** Не делайте поэзию ни целью, ни средством для чего бы то ни было. Поэзия самодостаточна. Получайте удовольствие, «ловите кайф» от самого занятия!

**А. Р.:** А что бы вы пожелали своим врагам или недоброжелателям, если таковые есть?

**Д. Б.:** Желая им изведать небесных радостей, но лишь после того, как они прозреют и раскаются.

**А. Р.:** Могли бы вы назвать ваше самое большое разочарование в вашей жизни? Жалете ли вы о чём-либо в прожитом и пережитом?

**Д. Б.:** Самое большое разочарование – это Россия, а жалеть о прошлом поздно и непродуктивно.

**А. Р.:**

Туманные проходят годы,  
И попережку дышим мы  
То затхлым воздухом свободы,  
То вольным холодом тюрьмы.

Георгий Иванов, конечно. Что вам близко и что чуждо в нынешней духовной атмосфере России, родного Петербурга? Могли бы вы жить там сегодня?

**Д. Б.:** С начала перестройки я ездил туда каждый год, оставался подолгу, читал курсы лекций, участвовал в литературных конференциях (и даже в одной философской), выступал по ТВ, давал интервью в газетах, печатался в журналах, издал несколько книг стихов и прозы. Я считал, что таким образом участвую в больших российских преобразованиях. Я надеялся, я даже думал: а не остаться ли в обновляющейся стране?

Но теперь уже – нет.

**А. Р.:** Если бы вы не родились поэтом, то кем и почему?

**Д. Б.:** Я родился просто младенцем, кричащим, капризным и требовательным, а поэт родился позднее, за школьной партой уже в старших классах. Во время скучного урока я зачитался посторонней книгой без титульной страницы, не зная ни автора, ни названия. Вот он, идеальный текст формалистов! Это были разрозненные заметки и размышления о парижских улицах, о смертях королей, о сестринской любви, о созерцании, о казни московского самозванца и о библейском блудном сыне. Я увлёкся настолько, что сердцебиением и дыханием совпал с ритмами этих размышлений, и мне передался мощный творческий импульс неизвестного гения. Так я впервые начал сопоставлять слова и складывать их в строки и созвучия.

Впоследствии я с радостью и даже со слезами благодарности узнал эту магическую книгу, когда читал новаторский роман Райнера Марии Рильке «Заметки Мальте Лауридса Бригге». Рильке стал моим светочем.

Кем бы я был без этого? Жизнерадостным пенсионером Дмитрием Васильевичем.

**А. Р.:** Очень люблю этот роман, как и Рильке в целом... Есть ли вопрос, на который вам хотелось бы ответить и который я не задал?

**Д. Б.:** Да, вы могли бы спросить, что я пишу сейчас и что читаю.

Вот мой ответ. После многих лирических стихов и поэм, после томов мемуарной прозы, после книги сатир и эпиграмм, после серии эссе о поэзии я с вашей помощью выступаю в жанре интервью.

А для чтения у меня дома есть сотни книг и миллионы томов в библиотеке. Но я предпочитаю теперь интернет.

**А. Р.:** Тогда последний, традиционный вопрос моих интервью в «Эммире». «Река времён в своём стремлении / Уносит все дела людей...» А какую эпитафию вы могли бы представить на вашем совершенно символическом надгробии?

**Д. Б.:** Вот как вы меня плавно на тот свет провожаете! Да ещё и с самообслуживанием, когда покойник сам лошадей погоняет и автоэпитафию сочиняет? Между прочим, есть целые исследования этого мрачного жанра, среди них – книга Татьяны Царьковой «Русская стихотворная эпитафия XIX-XX веков», там много пафосных образцов. Но лучше Державина всё равно не напишешь: «Здесь лежит Суворов».

Но я полагаю, вы ожидаете от меня нечто самоироническое...

Ирония мне не чужда, и я накопил эпиграмм на целую книгу «Ягодки графа Шампанского» (она вышла в этом году во Франкфурте), там можно найти несколько эпитафий по опочившим знакомым, но не по самому же себе...

А впрочем, вот нечто на эту тему, но в несколько иной, нелapidарной форме. Здесь нет хэппи-энда. А разве он есть в нашей жизни?

## НА ВЫРОСТ

Били руками, ногами, палками. Сотруднику МЧС  
Дмитрию Бобышеву, совершившему попытку побега,  
отрезали голову двуручной пилой.

*из Интернета*

Вы умерли. А мы не умирали?

*Стась Красовицкий*

Да с детских лет и многожды. Недаром,  
кто под бомбёжкой побывал,  
тому всё бьёт по темячку подвал:  
и в подсознании, и под Краснодаром.  
Хотя Люфтваффе в цель и не попал,  
ты всё живёшь кадавром.

А это вот – за что тогда? За то, что  
ты с однокурсницей, едва  
смеркалось, шёл Сталиногорском-2,  
и – в бок тебе бандитская заточка,  
(гуляла круто местная братва), –  
ты в печень мечен был, почти что точно.

Почти, да не совсем. И, вероятно,  
то – хлястик, соскользнувши, спас.  
Но просыпался ты потом 100 раз  
в поту от этих вариантов:  
останешься – убьют, сбежишь – ты трус и мразь.  
Хоть посадили их тогда? Наверяд ли.

А то вдруг за звонком звонок, в запале  
– Ты жив? – за свой же, в кои веки, счёт  
Рейн любопытствует. Сам по себе? Едва ли.  
Там слух пошёл – меня «почившего» насчёт.  
Для некролога цифры проверяли...

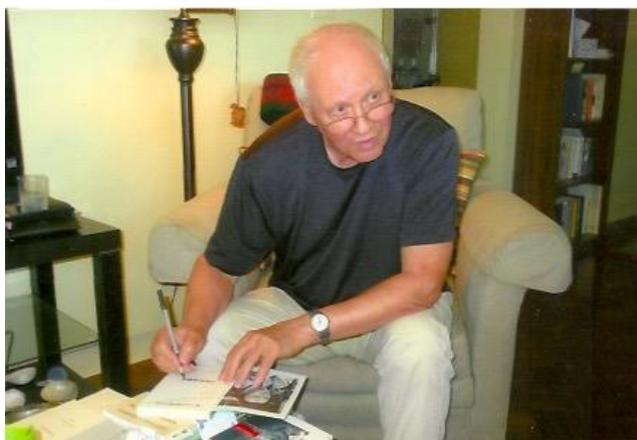
А то: ты – я. Однофамилец, тёзка,  
ну, Дима Бобышев на службе у Шойгу.  
Чеченцы – люди. Брату, не врагу

постелят мягко, спится жёстко.  
Попался в рабство. Скручен был в дугу.  
Рыл схроны. Жрал навоз, извѣстку.

Был бит. Вскипел, и – в ухо Зелимхую  
Ахматову. Но тут Ахматов-брат  
на козлы повалил тебя (меня) в обрат.  
Двуручную пилу схватили ножевую  
и, словно чурку, прочим на погляд  
по шею распилили наживую...

Такое прочитаешь: ну, не слишком?  
Не слишком ли? Пилить живого – чтоб?  
Ахматовы, к тому же... Где мой гроб?  
Обидно, и до слѣз ведь жаль мальчишку.  
Дождался мой на вырост гардероб:  
сам лягу и захлопну крышку.

Этим заканчивается моя последняя книга стихов «Чувство огромности». Но я, кажется, нашёл более краткий и вполне исчерпывающий вариант надписи: «ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА».



Дмитрий Бобышев, дома в Шампейн. 2018-й год.  
*Фото Максима Кравчинского.*